

В Л А Д И М И Р

ЯВЬ

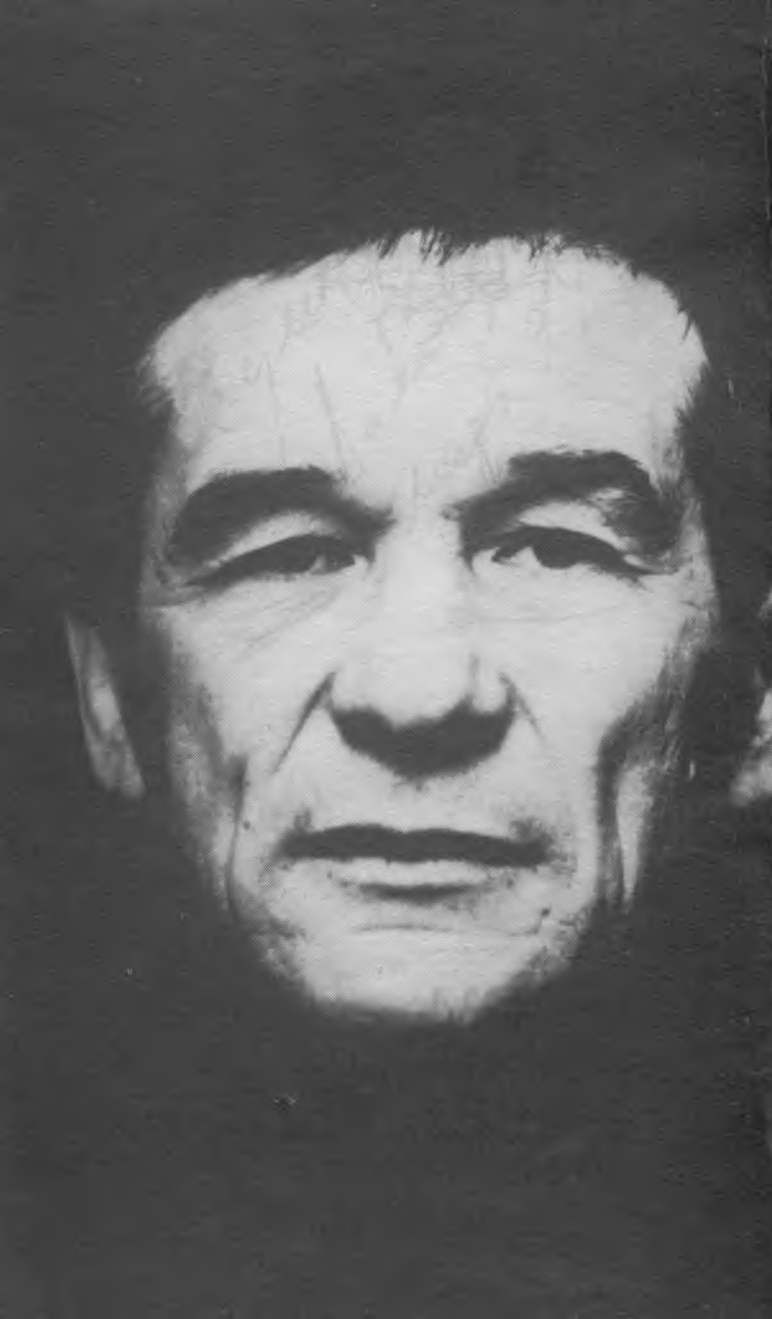


Л Е О Н О В И Ч

Handwritten text, possibly a signature or name, written in a cursive style. The text is oriented vertically and appears to read "Handwritten text" or similar, though the characters are highly stylized and difficult to decipher. The text is written in black ink on a white background.



ДОМ
МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ



В П А Д И М И Р



ЯВЬ
СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОМ
МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ

ПРАМИНКО

МОСКВА · 1993

П Е О Н О В И Ч

ББК 84Р7
Л47

Л47 **Леонович В. Н.**
Явь: Стихи.—М.: Праминко 1993 128 с
ISBN-5-88148-007-4.

Четвертую книгу Владимира Леоновича «Явь» составили стихи последних лет, большей частью опубликованные в газетах и журналах.

ББК 84Р7

© В. Н. Леонович, 1993

ТЕРПЕНИЕ СВОБОДЫ

**Мне говорит природа,
печаль свою даря,
что есть еще свобода
и в капле янтаря.**

**Она совсем другая:
крылом не шевелит
и смотрит, не мигая,
и больше не болит.**

**Вот капля золотая
в оправе на груди...
Но вечность коротая,
ты не проспни гляди!**

**О том и речь природы,
что камень**

**разольет
терпение свободы,
что вечен твой полет,**

**хоть велика отсрочка
и хорошо во сне,
пока бежит цепочка
по теплой белизне.**

* * *

Сквозь дождь и дерево нагое
свет фонаря едва прошел —
как ломкой золотой дугою
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зреньё
подобную имеет власть:
вся жизнь вокруг стихотворенья
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою
и жизнь кругом — и вся она,
и каждая черта — любовью
осмыслена, озарена.

ХОЗЯИН

Изменитесь в жерновах терпения...

Игуменья Ефросинья

Август-сентябрь. Перестояла трава,
что докосить не под силу последним старухам.
Мельничный ручей шумит, молчат жернова —
это молчанье легко различается слухом.

Черное в срубе смоляное бревно.
Желоб целехонек, привод сработан с запасом.
Мельник стал вороном — так уж заведено —
гут и живет, потерявши обличье и разум,
ибо ему забывать ничего не дано.

Хлебным еще перегносм крапива сыта,
и непролазны черемуховые оплетья.
— Худо, хозяин... И ворон кричит:
— Воркута! —
этого хватит ему на четыре столетья.

Знала игуменья эта в терпении толк.
Жито крапивой взошло, ибо в прах измололось.
Озеро опустело... Но еще не умолк
твой шелестящий, осенний, серебряный голос.

НА КАМНЕ

Плыви течением волокон,
упрямый камень обогни,
а чтобы вырваться не мог он,
опеленый, опелени...

Плети круги свои — оплетни,
в расселине укоренись
и лиственницею столетней
на всю округу оглянись.

Держись — лохматою колонной,
разопираясь о персты,
одной-единой, потаенной
живою силой — красоты.

Чудесно сжатую до взрыва
освободить — избави, Бог! —
и волокнистого наплыва
распутать, размотать клубок.

МЕДИТАЦИИ К ПЕТРОВИЧУ

Как ты, Петрович, в лес не стал ходить,
так и грибы родиться перестали,
тропинка заколодела, родить
уже не хочет — разве так, местами.
Обабки вот... Обабок что за гриб!
Болотные обабки — тонки лапки.
Набрал полкороба — отдай-ка бабке,
хоть иоругается, а суп сварит.
На Кулгом-озере кидал блесну,
кидал-кидал... Вот выманил одну:
от рыбака и щука отвыкает.
Избушечка? Цела, не протекает,
видать, недавно человек гостил:
все прибрано, оставлена заварка,
припас подвешен. Чаю вскипятил...
Тот жил порядком: в банке три огарка.

И что не жить, Петрович! Ведь места
за пазухой, сам знаешь, у Христа:
две речки, озеро, боры, болота!
Трудись и благоденствуй, и никто-то
не вякает, не виснет над душой,
и всем в лесу ты свой, а не чужой,
на берегу избушка на пригреве,
И ДОБРОТА ЕГО ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ —
стихотворенья важная строка.
Бежит в деревню за тобой лосенок
и всю дорогу плачет: молока!

Здесь пауза: как паутинка тонок
зазор такой, волосяной мосток,
другое руслице нашел исток:
что может быть — то будет — по-другому!
Вот радость! А когда дошли до дому,
ослаб лосеночек... И молока
в деревне нашей гиблой ни глотка.
Неделю-две ходила, выла тихо
по заозерью глупая лосиха.

В овраге недалеко от моста
осину помнишь? — Лет ей, может, триста.
Земля забагровела от листа,
трепещет крона, льется как мониста.
Другое имя — это бытие
другое — вспомнится или помстится:
когда гляжу, Петрович, на нее,
откуда-то находит: ТРЕПЕТИЦА!
А младшенький разумный отпрыск мой
ей «здравствуй» говорит, ладошкой гладит...
Пока он гений, школа с ним не сладит,
Бог даст, приедем как-нибудь зимой.
А лучше в марте: свет и красота!
Приедешь — а деревня и пуста —
и все. Разор дошел до точки. Точка
и что теперь, писатель-одиночка?
Была деревнюшка и больше нет,
всех схоронили за 15 лет...
Все ждал крестьян «последнего призыва»,
как мог крестьянствовал летами сам,
звучат призывы, но весьма фальшиво:
крестьянин крепкий ни к чему властям,
ни власть—ему. Как сирота она
отныне лишь сама себе нужна.
Не будет лишнею и эта строчка.
и что ты мог поделывать, одиночка?

В стихотворенье вставить обиняк?
Кому застой, кому сплошной сквозняк:
провинция — село — Москва — грузины...
Тем — зарубеж, тем — лагерь и тюрьма;
а мне — до помрачения ума —
Отечество! Терпенье... Зимы... Зимы...
Тот запил, этот прыгнул с этажа,
тот в почтальоны, этот в сторожа,
тому наркотик, этому ирония, —
полпоколенья счавкала хавронья!
А если бы заботники мои
мне выбор предложили: **ВЫДВОРЕНЬЕ**
ИЛИ ТЮРЬМА?..
Вперед, стихотворенье!
Все выбрано! Еще немного, и...
Но эти вещи надо знать. Я знаю
давным-давно. Во сне который раз
нейтралку темную переползаю,
сюда — оттуда — полоснет сейчас...

Чего задумался? Да так, о всяком.
Чего... **ЧЕГО В МОЙ ДРЕМЛЮЩИЙ**, та-та,
НЕ ВХОДИТ УМ... Так-так, и с этим таким
уже в двери, уже пригнулся... Да!
скажи, Петрович, печь-то какова?
(я боров перекладывал) похвастай.
— Так тянет нонь — в трубу летят дрова,
ты хоть писатель там, а головастый...
В десятый раз все слышу и порок
печной врожденной кладки излагаю,
в десятый раз — ногою за порог —
оборотясь бездельников ругаю.
Но тут и бабка голос подает
и вылезает к нам на свет, и тут уж
я их спрошу, кой леший вас несет,
последних стариков — туда же, в Пудож?

— Придет какой-ни гопник, настрамит, —
покорно соглашается Васина...

Высасывает и центростремит
людей нечеловеческая сила.
Кому оплачивать чужой разбой
прибавочным трудом на благо вора?
Оплатим, мать их в душу, но нескоро...
Ты сокол сталинский, Господь с тобой,
у нас об этом нету разговора.
Притерлись как в прибое камешки,
народ постерся: матюки, смешки,
глаза зальют и кольев не ломают,
изъяты коренные мужики,
биоценоз нарушен — понимают...
Так шуку если выбьют острогой
или сосняк повторно обессочат...
Но если деревеньку раскурочат,
тогда и ты почувствуешь: изгой.

Однако в марте буду попадать
на свет, на утренники... Благодать!
По насту гулкому до Заболотья
катись — да неужели наяву!
И помяну не раз, и позову:
Сереза,
Митя,
Сашенька,
Волсдя...
Без вас — как мне обидно одному,
друзья, смотреть на свет
сквозь вашу тьму!

ЧАСОВНЯ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

**В ПАМЯТЬ
ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ
И ЕКАТЕРИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ
КАЛИНИНЫХ**

**До края чаша налита
и пролита — пиши.
Точу топорик на лето —
чинить карандаши.**

**Что звоном, что закалкою
он радует меня.
А с плотницкой смекалкою
все прочие — родня.**

**В каноне есть особинка,
в свободе есть закон.
Растет в бору часовенка —
25 бревён.**

**От кия и до клотика
задорно внесена
олонецкая готика
с развалом в 3 бревна.**

**Крыльцо, крутая крышица
и маковка на ней.
Качнешь — и все колышется
от высоты своей.**

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛЕД

П. Краснов

...Свободно, где бетонка прогнута,
ты выжал около двухста,
и сзади запоздало дрогнула
озвученная пустота,

через промоину отлогую
перелетел широкий мост,
никто не видел тень убогую,
спускавшуюся под откос.

Степные сумерки такие вот —
пора блуждающих теней,
лети, лети себе до Киева
да не убейся, не убей!..

А здесь горит звезда вечерняя,
зависнувшая невдали;
исходит слабое свечение
откуда-то из-под земли.

Укрыто место и ухожено,
вблизи кудрявится погост.
Со всей округи обезбоженной
старухи тянутся под мост,

тут образок, лампада зыбкая,
игра теней на потолке,

и паперть щебнистая, сыпкая
спускается к сухой реке.

Нездешний ужас всех охватывает:
— Спаси Христос! Спаси Христос! —
когда по кровле прогрохатывает
какой-нибудь тяжеловоз.

Но гром прокатится карающий —
и все звучит, сходя на нет,
какой-то струнный отзвук тающий,
какой-то музыкальный след...

ПО ПРАВИЛАМ ВОЙНЫ

**Прости ты нас, прости людей:
мы выростали без корней
и мы не знали, что творили
и сколько жизни уморили.
Тебя обрыли с трех сторон,
вершину тросом захлестнули,
машину подогнали, гнули...
Был произведен твой урон.
Тебя распилят, приберут,
распишут по графе расценок —
ненужный и недобрый труд.
Ты был не стар, силен и цепок,
лет семьдесят гляделся в пруд...
Я узнавал, ходил в конторку:
они стеклянную обжорку
на этом месте возведут.
Дела идут согласно сметы,
хотя по правилам войны
тут никакие не нужны
сомнительные сантименты.
Мы, недобитые враги,
очкарики-интеллигенты,
даем ненужные советы,
имеем лишние мозги.**

БЕЗ ПОКАЯНЬЯ

Разглядываю в Римском зале,
как желтый мрамор зализали
до самых-самых микропор,
и вижу Первый Рим — в упор.

Где нет лица, там есть ухмылка,
ухмылка поважней лица...
Всей этой мелочи копилка,
вся эта тонкость без конца!

Не мраморы, а гипсы, впрочем,
подделка здесь еще верней.
Что человеческий род порочен —
банальность явная. Над ней —

то, что тебе уже не снится —
ты этим жил... Увы, увы,
но превратился в очевидца,
перелагателя молвы.

Одно я только знаю крупно:
воздвигнутое на крови
должно погибнуть — врозь
и купно —
без покаянья. Без любви.

ПЬЕТА ПРИМА

В поруче наших мертвых дел
и смертоносных достижений
есть важный проблеск и пробел,
где обитает добрый гений.

Поспешны и разноголосы,
мы как-то вдруг поражены,
когда кровавые вопросы
улыбкою разрешены.

И вовсе уж не по себе
приблизившемуся к святыне:
улыбка — о распятом сыне
и горе — явно о тебе...

И кто-то — вот из нас, людей —
в итоге тяжких размышлений
взял — выстрелил в улыбку ей...
Недаром соблазняет гений.

Теперь, от нас отделена,
сидит в прозрачном душном кубе
и улыбается она,
но как-то горше, тонкогубей.

ЯВЬ

Как надо отдыхать от слов?
А — как пешком ходил Белов
по следу сосланных героев
от Вологды на Соловки —
один за всех за тех, у коих
на это ноги короткие.
А классики сидят на месте,
имея свой аэродром,
опричь досугов и хором.
Но тут работает возмездье,
и нет у классика чернил,
и отвращение к бумаге,
и кажется ему, бедняге,
что «кулаков» — он сочинил,
потешил племя вурдалачье.
Проспал Россию русский Бог...

Плывут на барках через Лаче
и Лаче-озера обок
валом вляят...
Да сколько вас!
И деревень-то ваших нету,
одни-то пустыри сейчас...

Они воскресли по Завету.
Бредут по займищу пустому
обидищами Свидь-реки.
Понадобились развитому
социализму — кулаки...

**Понадобится много мѹки,
прѹклятой памяти, науки,
чтоб эти кулаки разжать,
чтоб эти трудовые руки
охулкою не обижать.**

ЗА ПИСИ
ЗА СТОЛИКОМ

— Не слышали? Взяли Вовку —
под бульдозер вздумал лечь.

— Объявляет голодовку
и к народу пишет речь.

Заявляет: или — или,
перережьте пополам —
Сухону поворотили,
а Онегу я не дам.

И кололи и поили...

— Под бульдозер? Ни хрена...

— Дома кто-нибудь остался?

— Дети, двое, и жена.

— Пятеро! И не одна...

— Выпрыгнуть еще пытался.

— Исцарапал потолок:

БЕРЕГИТЕ РОДНИКИ! —

будто поверху пластался.

— Это могут дураки...

— Перебросили по плану.

— Захотелось парню в рай.

— Просто делает рекламу.

— Проворонили Чограй...

.

Все слышу. Закрываю веки.

Укладываюсь в две строки:

ОБОЖЕСТВЛЯЙТЕ РОДНИКИ.

ОСВОБОЖДАЙТЕ РЕКИ.

* * *

Фазилю Искандеру

**Пловец, который плавает с умом
и любит штормовое многоборье,
из моря выходя, в себе самом
и на себе самом выносит море.**

**Хорош, но чем-то неприятен мне
летающий на волне и по волне
скользящий — так владеющий уклоном,
что выскочит сухим и несоленным.**

**Зато воистину прекрасен тот,
кто с мальчиком слабеющим плывет
к береговым чернеющим отрогам
и не интересуется итогом,**

**затем что абсолютный интерес —
дыхание... движение... мгновенье...
покуда свет сознания не исчез,
пока внимательное вдохновенье**

**еще... еще немного... А потом —
и ты мое Евангелье продвинул:
разделался с тем трусом и скотом,
который лодку вашу опрокинул.**

КАЖДОМУ КЛЮЧУ

Ну а в начале этих лет,
когда припомнить, что же было?
...Глаза младенца — синий цвет —
полуприкрыты.
— Швило, швило!..¹

И белый гроб, и мать в платке,
и тьма людей пришла прощаться.
Жара, и кладбище Ваке
дрожало чашею Причастья.

Ушел я в горы, в тишину,
в рельефе чтобы разобраться...
Младенца ныне помяну:
мальчишке было бы шестнадцать...

А мать...
Мгновение одно
бездонной материнской боли —
мгновенье переведено
на годы, голоса и роли.

Хоть по-грузински я молчу
все горестней и безусловней...
Поставлю каждому ключу,
где он пробился,
по часовне,

¹ Швило — сынок, сыночка /груз./.

**Хочу, чтоб каждый свой исток
душа моя благословила,
покуда жив и не иссох.
Все эти годы:
— Шило, шило!..**

КИПАРИСЫ

**Вижу я в рассудке здоровом
да и спьяну не совру:
так и ходят всем составом
кипарисы на ветру.**

**Эта рать сторожевая
все теснее, все живей
ходит, пики воздевая,
вкруг гостиницы моей.**

**Что вам надо, кипарисы —
или голову мою?
Перед хмурой директрисой
вопросительно стою.**

**Наряжен такой роскошный
обходительный конвой —
для нужды моей ничтожной,
старой скуки путевой!**

* * *

За далью времени и боли
в моих покинутых горах
пылает маковое поле —
сегодняшний безвидный прах.

Ты говорил — и справедливо, —
что майский пыл пройдет к зиме.
Прошло, погасло это диво.
Факт пишем. Истина в уме.

Любовь прошла и стала мною,
не вырвать — нет таких клещей —
высокогорною странюю,
порядком и лицом вещей.

Живу в расчете ежедневном
с тобой, с неутолимо гневным
Судьей — для этого храним? —
прилежным ангелом одним.

МАТЬ ЭТИХ МЕСТ

В который раз сошла трава,
который век? Сочти и сведай.
Но здесь всегда была жива
мать этих мест — адгилис дэда.

Все бьется ключ — хотя овраг
завален хламом процветанья,
и Мать — коль ты себе же враг —
тебя хранит давно и тайно.

Адгилис дэда — присномать,
хранительница, берегиня —
того не станет понимать,
в чем злоба наша и гордыня.

...Встает разрушенный тотем,
встает у родника часовня,
встал бор порубленный — затем,
чтоб огляделся ты спросонья.

И возгорелся пепел книг,
чтобы из пламени исторглась
сожженная до «Шушаник»
иберов праведная гордость!

* * *

За острой желтизною дрока
дороги белой не видать.
Когда осыпалось барокко,
тогда открылась благодать.
Тропа моя ушла к бурьяну,
к боярышнику и к стене —
к Галактиону, к Тициану,
ко всей замученной родне.
Еще рукою суеверной
ветвь ломаную отведу,
еще увижу свет безмерный...
К стене щербатой подойду
и повернусь — и что-то шелкнет,
как на рассвете первый дрозд,
и перед тем, как все умолкнет,
вытягиваюсь в полный рост.

* * *

**В церквущечке затхлая мгла,
преграда восходит подковой:
там вышибли камень замковый,
и трещина ввысь поползла.**

**Исполнилось десять веков,
как мы повалили Сварога
и ради печального бога
крестили плетью мужиков.**

**А первую память души
пожгли, посекали, потопили.
Так эту преграду разбили,
так выдрали эти тяжи.**

**И кто тут работал киркой
в пустом и захламленном месте —
не думал о горьком возмездье,
вины не понес никакой.**

**...А дивно порой горячо
от старого пепла донные,
и дымом славянской святыни
мы дышим, мы дышим еще.**

**Кого бы на мысль навело
кумиров и храмов паденье
родные хранить заблужденья,
и мир, и печаль, и тепло...**

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЬВОВА

Во мне — убитые мной.

В. Львов

Я мимо шел, — раздался крик,
тупик безлюден был и черен,
злодей был силой невелик,
труслив, и жалок, и проворен.

Ту девочку я проводил,
она зубенками стучала,
и всхлипывала, и молчала.
Я тоже слов не находил.

И было это — или мнится,
что я целую у дверей
ее соленые ресницы
и прочь бегу — скорей, скорей...

Я думал о тебе: добро
твоей души не потрясало,
и никогда твое перо
не ахало, не восклицало.

Мальчишка принял смерть войны,
понес невидимое бремя...
Твоей глубокой тишины
почти не нарушало время.

А людям было невдомек,
как страшен дар такой и редок,

**и в горле копится комок...
Ты раздышался так ли, эдак —**

**и снова начал — и умолк,
как будто на слове запнулся...**

**Война достала, мир помог,
несчастный случай подвернулся —
водою хлорной захлебнулся
в бассейне, вырытом не впрок.**

3 ИЮНЯ 1989

**Я забылся, хоть не спал,
не видал из-под руки,
как старик свои снимал
стоптанные башмаки,**

**а когда мои надел,
а свои ко мне пихнул,
я поднялся и зевнул
и на вора поглядел:**

**— Нет, отец, нехорошо
находить где не терял,
а, наверно, ветеран...
Вздогнул! Встал он и пошел**

**как-то боком — шарк да шмыг —
из вокзальных горемык —
стоптанный сороковой,
да и тот, видать, не свой —**

**и пропал — сутул и сух...
И на головенке пух,
так мучительно похож —
на кого же? На кого ж?**

**А в гостинице с утра:
— Нету мест! Не будет мест!!
...На того, кого вчера
распинал народный съезд.**



БЕЛЫЙ СВЕТ

В полутемном кабинете
конопатый потолок,
не берет его побелка:
мел воруют, белят мелко,
скуден свет и низколоб.
Ванька-Кайн на паркете —
ворошиловский стрелок.
Вон и красный уголок,
там не дерево, а кафель...
Он ученый, Ванька-Кайн,
он уважит и усадит,
по волосикам погладит,
для начала вырвет клок...
Ходит мягко, смотрит глухо,
призасунул пятерню.
Ну-ка, я тебя, Ванюха,
к той картине применю:
под фуражкой человек,
он закутанный во френчик,
он со спрятанной рукой —
знать не знаем, кто такой.
Он плывет в дубовой раме
в полумраке над столом...
Поделом — над всеми нами,
вахлаками, — поделом!
Как я Ваньку обеду?
Как я губы разлеплю?
Где я зубы соберу?
Я забылся в кабинете,

пробудился на рассвете
над оврагом на юру,
во березовом бору...
И кидают нас в известку —
кто убит, кто не убит —
всех дотла сожжет карбид,
выбелит мою березку.
Тонкий выступит мелок.
Заровняют братский лог.
Были косточки — и нет.
Только в роще белый свет,
только слабое сиянье
возле каждого ствола
вам напомнит, россияне,
про великие дела.

МЕДИТАЦИИ

СВОДНЫЙ ХОР

Ливня не льет великая вода —
сочится из небесных мелких сит.
Олеша мало пьет, но пьет всегда —
как тихий этот дождик моросит.
В печи осина тлеет, а в щели
свою свирельку пробует сверчок
и сыплет мелкий дождичек, или
поласковой сказать: мусеничок.
Олеша извинит, что я не пью.
Ну, по одной, пожалуй, — помянуть
родителей — попа и попадю —
о всех, тогда погубленных, вздохнуть.
Мне надо описать олешин вздох
порушенной сердечной глубины —
кряхтенье-оханье:
дак ой!.. да о-ох! —
как достояние родной страны.
И шутки в сторону: т а к о й фольклор
заслуживает пленок или нот.
По крайней мере, некий сводный хор
мне слышится —
так дышит мой народ.

Никола с переломанным хребтом,
с обрушенными ребрами стропил,
как мертвый кит чернеет за окном.

Лохмотья крыши дождик окропил.
Близ алтаря шалман и коновязь,
сортира нет, понятно, ну и вот...
Чужим умом однажды соблазнясь,
премного наглупил честной народ.
Ты не мочи, Олеша, в водке хлеб,
женись — продлится род...

Отец Чулков

был просветитель, отправитель треб,
политик: одобрял большевиков,
в трактате предлагал им сочетать
Христа и Маркса, дабы жить лю б я —
за что его и надо было взять
у всей округи здешней, у тебя...
Ты помнишь? Помнишь — четырех-то лет.
Попенок... Как пришибли — так живи.
Понравилось, ишь, слово э л е м е н т,
с ума сошли — хоть смейся, хоть реви!
Отец учил детей и книги вел
рождений и успений — все сожгли.
Коробились листы и пепел цвел...
Известно было, как произошли
Баданины, Костровы, Шадрины —
их родословье до семи колен.

И пепел — достояние страны,
и дым истаявший, и тайный тлен.
В Никольске был отец еще живой
на пересылке, но ходил едва.
А где уж там добил его конвой,
то ведает болотная трава.
Дорогу ту я помню: мы по ней
ходили в любознательный поход
со старшим классом...
Гати все черней,
все каменнее в крепости болот.

**Не надо краеведов-знатоков
о многом спрашивать — я не спрошу,
где сгинул мученик отец Чулков,
а только постою да подышу
как сын его, как все мы или как
болота эти дышат... Вот они
и знают о пропавших мужиках.**

**Во царствии Твоем их помяни,
о Господи!**

Да как же ты.. Дак а-а-х...

* * *

У излучистой Моломы
сидит Федя-дурачок,
понимая, как могло бы
все текчи, а не течет.

Он содержится при ферме,
то ли вправду тронут он,
то ли кротостью безмерной
скотьей муки умудрен.

На пригорке, меж излучья
и глухого рукава,
речь идет, как жить, не муча
никакого естества.

Никого-то не жалеет
окаянный живорез,
невозможно как наглеет!
Накажи тебя Велес!

— Как те спится, окаянный! —
раздается по реке.
Гневается первозданный
вечный смысл в его башке.

Слышится дурацкий, братский
то ли смех, а то ли всхлип.
Ах, ни Швейцер, ни Вернадский
в глухомани этой вятской
в этих криках не погиб!

**Стадо растеклось по лугу:
дин-тилин-тилин-дин-дин —
есть, выходит, на округу
здравомыслящий один.**

НА ЭТЮДАХ

Как старушечки эти шумливы!
Тормозит на пригорке шофер,
и автобус стоит терпеливо.
И слепит подмосковный простор.

Водят кисточкой, дышат прилежно
три бабуси, а два молодых,
в сорок лет подающих надежды,
бородатых и желто-худых,

покидают автобус прозрачный,
где угарно сухое тепло,
и бредут по окрестности дачной,
где дорогу не так замело.

Красота! Выбьют пепел из трубок —
и опять под стеклянный колпак.
В результате взаимных уступок
тут заминка: не влезут никак.

Вот последний овраг и березка,
вот Госстраха знакомый плакат
и дома, что бездарно и броско
заслонили январский закат.

Завтра те же угар и дорога...
И за ширью и гладью стекла
усмехается солнце Ван-Гога
над потугами их ремесла.

ВРАГИ

— Я презираю вас глубоко
и вызываю на дуэль.

Он смотрит как-то одиноко,
и я смотрю в него... Ужель?
Померк, потупился в раздумии,
чтоб эту трудность превозмочь, —
и съеживается, как мумия!
Такое видел я, точь-в-точь...

Зачем я это сделал?
Внешне
не происходит ничего,
но э т о происходит между
двух слов...
Несчастно и мертво
глядит наружу, воскресая, —
сильна проклятая Косая...
Он выплывает: помоги!
Я помогаю. Мы враги.

ПОРТРЕТЫ
АННА ХОДАСЕВИЧ

Воспоминаньем истлевая,
живет старушка восковая
и мертвецов своих корит,
и говорит, и говорит...
На стенке с ними заодно
сама хозяйка в кимоно,
надменная и молодая.
Овала рама золотая.
Всех пережить ей суждено.
Слышна затейливая погудка:
электрочайничек парит.
Старушка голодом морит
и черным чаем — рак желудка.
И начатое позабыв,
без перехода и вразбив,
но ровным тоном, как в балладе,
рассказывает мне о В л а д е.
Начало от конца. Покинул
меня в раскаянье, в слезах
и написал, что сердце вынул
и помнить будет в небесах.
И мне, однако, рай обещан...
И тут обиды. И про женщин —
одна на сером жеребце
въезжала прямо на террасу,
так домик весь звенел и трясся,
а Владя расцветал в лице.

Потом ушел и был с другой
над венетийскими водами —
но все цвели и опадали,
а я была ему — одной.
Его ронсаровские циклы
читала плача и любя.
Мне говорит: играю в куклы,
запомни: я люблю т е б я.
Я знаю — что ж ты врешь другим?
Его спросите-ка подите!
Не подступиться — поглядите:
и часто он бывал таким...
Чуть фотография туманна,
а взгляд пронзителен — ей-ей,
игумен братни своей.
Сознание дара или сана.
Певец четвертого сословья
и пятому последний брат
затем, что весь — аристократ —
гордынею, отчасти кровью.
И я писала — только Владя
писать не то чтоб запретил,
а пошутил — да и отвадил
и круг другой мне очертил.
Был мягок и непререкаем.
Я знала весь его словарь:
уж если говорит — я Каин,
то надо понимать — я царь.
За гордость эту и молюсь.
Мне говорит: я становлюсь
произнесенным мною словом
и тем сойду путем готовым —
Орфей — отселе прямо в ад...
О боже! Все равно не верю
ни Каину его, ни зверю —
не больше прочих виноват.

Но жалуясь и негодуя,
такую вздумает вину —
свою, чужую, не одну —
навалит на спину худую.
А мне: не забывай, Нюрок,
хоть ты мой рай, но ты мой рок.
Незабываемо и чудно
бывало, право, как в раю.
Так и скажу про жизнь мою
в день судный...
И говорит, и говорит —
ему, себе ли в утешенье.
Однако это разрешенье
мучений, ревности, обид.
И как-то мне легко и странно:
я словно послан от него —
к тебе от мужа твоего,
великомученица Анна.
Где спесь его и мрак, и злобство?
Где сатаническая роль?
Великодушное потомство
воспринимает честь и боль
и ту классическую соль
избранничества и сиротства.

* * *

**Ты обратишься к тайнословью —
так суждено — мерцай и мри
последней — первую любовью,
как северные две зари.**

**Но будешь ты утешен честью
и начертанием креста,
где миновала перекрестье
косая быстрая черта.**

**Не ласточка ль перелетела
тропинку в роще, где светло?
Не этого ль душа хотела,
да сердце не перенесло,**

**чтобы навеки миновала
и очертила полотно
та рама черного овала,
каких не делают давно.**

* * *

Приход и служба захирели,
пообветшали муляжи,
но три свечи еще горели
и золотили витражи.

Их миновал обряд венчальный
и этот вышедший в тираж
сакраментальный и сусальный
аляповатый антураж...

К его ознобу, к вере детской
теперь примешивался лоск
гордыни дедовской шляхетской:
где надо, там отозвалось!

Неможно жить без отголоска
погибнувшего бытия...
Она ж — хотя б едзина слезка
глаза увлажнила ея.

А ты, бесхитростный ваятель,
чья так плачевна и бледна
раскрашенная богоматерь...
Твоя вина, твоя вина...

ТЕАТР-АБСУРД

Георгию Маргвелашвили

Из-за президиума на трибуну
красивая всплывает голова
и, в темный зал освещивая лунно,
поет и шепчет пыльные слова.

Оратор вдохновенно бездыханен,
пока трепещет облачко над ним...
И впереди сказали: марсианин,
а позади сказали: пьяный в дым.

Ты был трезвее трезвого, не так ли?
И в паузах откровенно хохотал,
являя ложь во лжи, спектакль в спектакле,
театр-абсурд — и плавал и блистал!

А в зал сходя, качнулся: это дело
на миг пришлось тебе не по плечу.
Потом — свобода — поднебесье — Белла —
она поет — ты плачешь — я молчу.

* * *

О чем же, о чем же? О молнии зябкой,
о некоем плавающем напряженьи,
о той тишине неразрывновнезапной,
о дальнезаоблачном преображеньи.
О том, как ребеночка распеленали,
и он не давался ни маме, ни папе,
когда переборки и ребра стонали
у ветхого дома на дышащей хляби.
Выпрастывал крылышки мальчик нежнейший —
тогда распахнуло оконную раму!
Закреть опоздали — о чем же? о ней же —
влетела и тянется к медному хламу...
Не бойтесь никто — и в немоте полнейшей
вершит милосердые старинную драму.
Задремлет старик, заслоненный газетой,
скамья опустеет в тени бездыханной.
О сумеречной стариковской, об этой
жестокой Иверии, столь бестарханной¹.
О жизни щемящей, сладчайшей и тленной —
я вижу твой шаг неохотный, этапный...
Была эта молния, гостя вселенной,
ночной тишиною, настольною лампой —
обычной, нестрашной — неприкосновенной.

¹ Образовано от фамилии Тархан-моурави.

* * *

**Нестерпимы проволочки
и сердечное вранье,
осудили ангелочки
поведение мое.**

**Я лежу — больной и слабый,
всех люблю — и всех мне жаль.
Наклонись ко мне, крылатый,
облаченный в сталь.**

**Мои речи дерзновенны
только мучают людей.
Отвори мне эти вены,
кровь губительную слей.**

**Но стоит он молчаливо
и не трогает меня.
Темно-синего отлива
чернокрылая броня.**

НЕЛИКВИДЫ

(Элегия)

Опускался я в подвал
и душевно горевал:
там лежали неликвиды —
застарелые обиды.
Вот Гурамова Давида
исповедь — была она
славно переведена...
Ты читал?
Да ведь и я не
одолея Давитиани,
узнавая наперед
добрый старый перевод:
безупречна, двуединая
золотая середина.
Крепкий стих — орех волоцкий! —
чудный мастер Заболоцкий.
Середина золотая,
только золото глотая,
посредине — хошь не хошь —
ты оскомину набьешь.
Мысли чинное течение,
пыл души и блеск ума...
Несвобода. Заточенье.
Пересыльная тюрьма.
Добровольное служенье,
вдохновенье, знанье, вкус —
легкий привкус одолженья —

неужели не дождусь
чуда и преображенья?

Опускался я в подвал
и поддон макулатуры,
айсберга литературы,
горестно обозревал.
Где поверхности покров,
там плывет туманный лебедь.
и громаду не колеблет
рябь течений и ветров...
Неликвиды, неликвиды,
непотребная среда —
не живые, не убиты,
и сгорели б со стыда —
отсырели, вот беда!
И, однако, в этом Орке,
полуморге-полумраке,
я спросил о Пастернаке,
неуверенно спросил...
Не слышали человеки,
обитавшие в подвале,
ничего об этом греке...
Пачку не распаковали?
Грузовик не приходил?

Тут я вздрогнул: это он!
Боже мой! Галактион!
И ему при свете лампы
на обложку лепят штампы.
Уцененное добро —
и лиловое тавро —
новый уровень товарный
этой музы легендарной...
Где, однако, та строка,
где воскрес грузинский гений?

Где же русская тоска
на пиру его трагедий?
Музыка без языка?

Неликвиды все похожи
участию роковой —
на бумаге меловой,
в золоте и ложной коже.
За версту их узнаю,
будто сам их издаю.
Ходит классик-индивид —
сразу вижу: неликвид.
Свеженькие — на прилавке,
миг блаженный — как в раю...
Через год — в пыли и давке
верхней полки на краю.
Короток полет «Мерани».
Взмах крыла — и сверху вниз!
Камнем падает «Совпис».
Крайний — следующий — крайний...

Чтобы душу уберечь,
хоть писали б мемуары,
как писали в годы стары,
как Липранди или Греч.
Ветераны! Одолжили б
немощную молодежь —
от чего? Не ото лжи ли?
Долг чужой да свой платеж...
Крайний — следующий — прыгай!
Повергая книгу книгой,
шевелится теснота.
Сколько тягостных уронов...

А вертящихся рулонов
за верстой летит верста!

**Там — тебя же набирают,
тут — тебя же попирают.
Там — пошел под коленкор,
тут — поехал под топор.
Там — опять в стихи и прозу,
тут — опять на целлюлозу!..**

**И плывет' полярный лебедь,
ослепительно суров —
дивной стати не колеблет
рябь течений и ветров.**

ВКУС

**Вкус художественный развивая,
знайте, что художественный вкус
есть необходимо роковая
категория или искусство.**

**Хорошо воспитан, образован,
волю он берет и тот же час
наше дело поверяет словом,
совершенства требуя от нас.**

**И уже тебя — твое создание
не на шутку пересоздает —
все его святыя предписанья
сбудутся в урочный час и год.**

**Исповедник веры идеальной,
так живи — лица не отвори
от неоспоримой музыкальной
той каденции, того пути...**

* * *

**Напишу ли я роман,
или писем чемодан,
или мысли ни единой
слову не предам —**

**есть возвышенная сфера:
совершенно все равно,
в чем одна душа и мера.
Тот молчит, кому дано.**

* * *

**Небезгреховна, небезвинна,
полутемна, полусветла,
серебряная середина —
простая жизнь моя текла,**

**но Божьей карою обвала,
как Иов, был я потрясен,
и прошлого — как не бывало,
и настоящее — как сон.**

**Но то, что речь ему расторгло —
и возопил, и был спасен —
мне только сдавливает горло,
и я над кручею взнесен**

**притихшей тяжестью всею...
И нет чудес, и нет пути.
Но, Боже, участью моею
любимых не отяготи!**

ЧЕЛОВЕКУ ЖИВОМУ

Листья красные, серые былки
да порожний стакан, да бутылки.
Поминают и пьют за него —
за родного, совсем своего.

Он увидит, надгробье отринув,
цепенеющих простолюдинов,
сиротеющего двойника,
здесь оставленного на века.

Нет ему ни в которой юдоли
утоления творческой воли —
поднимает от мирного сна
та же дума и та же вина.

Но не призраку сторожевому —
говорю человеку живому:
как — я — памятью — гневной — да-вим,
как — ты — счастлив и поправим!

ВЕРСИИ

ПАСТЕРНАК

Летом 1937 года Б. Пастернак, несмотря на настойчивые требования руководства Союза писателей во главе с В. Ставским и вопреки отчаянным просьбам беременной в ту пору жены, отказался подписываться под требованием расстрела И. Якира и М. Тухачевского. Однако его подпись против его воли и без его ведома все-таки была поставлена под опубликованным в «Литературной газете» письмом писательской общественности «Не дадим житья врагам Советского Союза».

Этот факт отражен в записках З. А. Масленниковой, вдовы поэта Зинаиды Николаевны и его сына Евгения Борисовича Пастернак.

Автор

**Он разумел помимо книг,
что тело — первый ученик
души, и потому, свободно
владея возрастами, жил
всем трепетом желез и жил
в готовности к чему угодно —
и к лагерям, и к одиночке,
и к высшей мере. Впрочем, он
к свободе был приговорен,
что явствует из каждой строчки.**

Его ж судить осуждены
наемник всякий и невольник,
и всякий ратник сатаны,
что образуют сей страны
пирамидальный треугольник.

Над простотой военных строк —
лицо солдата пожилого,
который вынес все и смог,
что может и выносит Слово.

И явствует уже до слез,
колхозники и слобожане:
придет на место обожанья
жизнь, подзаборная всерьез.
И ваш поэт имеет власть
погибнуть раньше, чем упасть,
и молодыми желваками
впечататься в надгробный камень.

А эту версию возьму
у горестной мемуаристки,
чей жребий жестче декабристки:
стремиться — к вечному — к нему.

Вожатый был коленоглав,
и круг над лысиною темен,
и след ведомых был кровав
сюда — от лагерей и домен.
Хотя не терпит мемуар
того, чем только дышит муза,
но медольстивый Велнар
сегодня — секретарь Союза,
штурмовиков своих вожатый.

А этот — в сапогах, с лопатой,
мальчишка в 40 с лишним лет,

талантливейший поэт...
И было дело о соблазне,
и возникает Велнар
с народным одобреньем кар
и требованьем смертной казни.

Воззванье надо подписать,
перетворяя зло во благо,
чтоб те, кто станет воскресать,
узнали руку Пастернака.
Осуществитель этих мер
был демократ, большой удачник,
орденоносец, раскулачник,
генсек СП СССР,
чья власть была СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ,¹
коль дохла с голоду Кубань...

И стало холодно в предсердьи
и как-то каменно губам.
Он выставил их тот же миг,
им выпятя вдогонку челюсть, —
их сквозь, сюда и напрямик,
глядит, мучительно сощелясь.
Сюда — не долу, не горе, —
впервые встав так близко к краю,
и сыну скажет на одре:
— Непримиренный умираю.
Я этот Пастернаков грех
не поменяю на спасенье...

Февральский слезный сотый снег,
в музее правят новоселье.
Опомнившаяся страна
кусает локти и ликует.

¹ Книга В. Ставского

На сценах, на экранах, на
могилах плещет и токует
кто все постыдные года
помалкивал — побитый цуцик —
и не бывал в тяжелых РУЦЕХ
ЖИВАГО БОГА никогда.

Убрался штурмовой отряд,
но Пастернака «подписали»
под документом, говорят...
Нет подлости под небесами,
какой бы ни изобрели
мы, свет надежд и соль земли...
А он стоит еще с лопатой,
на то мгновенье сед и стар,
а дома ждет его кошмар —
укор и вопль жены брюхатой.
Валялась у него в ногах —
и волосы на сапогах —
и выла в голос — роды вскоре...

Он на нее глядит — как в море...

* * *

Утрудился, занемог
ваш неистовый Ван-Гог.

Желтых нет и синих лезвий —
только свет пустой и трезвый,

только клонится к земле
жница вещего Милле.

И былая ваша правда
поувяла, поодрябла.

И пожалуй, не с руки
мне спускаться в рудники,

озираться в штольнях мрачны
парой глаз, цветных и зрячих,

оказаться без помех
в Боринаже — ниже всех.

И, покинув подземелья,
слезы вытирать и бельма...

Или — заново начать?
Или нет? Не знаю... Глядь...

* * *

Ты есть то, что ты жрешь.

Ф. Искандер

**Гроза очевидная и безнадежно сухая
подходит и топчется, глухо ворча и перхая.**

**Гроза без характера, без лица и поступка,
гроза без грозы — утомительная душегубка.**

**Не эта долина, не эта зазубрина Грени,
а это повинно такое бездарное время —**

**такая усталая и безнадежная мякоть,
от коей так хочется пить и не можется плакать.**

**... Я жил на задворках, покуда гремели застолья,
где славили — ныне ругают эпоху застоя.**

**Все те же они: веселятся и пьют на чужое
и славят, что надо, и славят, как надо, — с душою.**

* * *

**Ландышей нарвал в комарином лесу —
старой няньке моей несусу.**

**Девочки навстречу — три.
Делать нечего — дари.**

**Они косенькие,
крепконосенькие.**

**Больше дышать и нечем —
этим вот существам человечьим...**

**Ладно, дыши,
дари ландыши.**

СУШЬ

А.В.

**Который насос производит откачку,
движеньями лапок похож на собачку.**

**Старательно воду земную сосет
система земных понижения вод.**

**Квартал деревянный неслышно осадит,
подземную речку отсюда отвадит,**

**кругом наведет сокровенную сушь —
гони экскаватор и домики рушь.**

**Бестрепетны лица румяных рабочих,
огонь безучастен и ковш неразборчив.**

**Под грудю хлама сопит самосвал.
Я все это знал и по имени звал.**

**Я поднял и вынес оттуда немного:
истертую доску чужого порога —**

**раскосые выпуклые сучки,
тройные подглазья, сухие зрачки.**

ДВЕ СЕСТРЫ

Баллада

В сосновой роще нет подлеска,
в роду прекрасном нет детей.
Ты вздрогнул от сухого треска,
как будто ждал дурных вестей.

Поляна по-над самой кручей
лежит, пылая и кренясь.
С обрыва там — несчастный случай —
упал когда-то старый князь.

Жена достойно и жестоко
перегорела во вдовстве,
и доживают одиноко
две дочери — старушки две.

Тропинка в поле: плиты храма,
где камень черн и ноздреват,
как будто тут дохнула драма...
Но я ошибся, виноват.

Здесь высоко — и близость неба
заметна в бледности лица,
и очистительная треба
здесь совершится до конца.

А драмы нет, как нет потомства,
житейской смуты и греха,

как не могло быть вероломства
исчезнувшего жениха.

Другой убит, и без сомненья,
но был давно ли женихом —
давным-давно, еще в именье
сюда заезживал верхом.

И не было причин и следствий,
где высшей волей обошлись.
Воспоминания о детстве
святую наполняют жизнь.

И в легкий быт вошло преданье,
где высоту хранит рельеф
и тайна пребывает втайне
покоя ради старых дев.

Они рисуют акварели,
грамматику преподают.
Как радостно они старели,
как умирают и цветут!

А на поляне наклоненной
одну я вижу поутру,
и шалевый платок зеленый
над нею рвется на ветру.

Она стоит, раскинув руки,
на ветер налегла слегка —
в глубокой каменной излучке
ревет и пенится река.

Не вижу смерти умиленной
и благодати неживой,
но взгляд — слепой, испепеленный
и профиль птицы кочевой!

ЦВЕТОК

Цветок. Вокруг него поля,
деревни, города,
что на себе несет земля
куда-то не туда.

Он ясен, как дитя, в своем
неведеньи благом,
его зеленый окоём
так близко и кругом.

Но вот кивнул он головой,
возможно, от того,
что я смутил его покой,
встревожась за него.

И необъятный шар земной,
незыблемо лежа,
тихонько дрогнул подо мной
немного погоды.

ЭПОХАЛЬНОЕ СЛОВЦО

Десять коек — дышим тяжело —
двухэтажных — под и над.
Расторопная шабашка
внедрена в сельхозуклад.
В 10 ляжем, в 5 встаем,
ни граммулечки не пьем.
Нам лентяи платят подать,
люди пришлые в цене
(и свои подзаработать
норовят на стороне).
Где свои? А кто в ремонте,
кто не в духе — и не троньте,
кто сидит на билютне —
и транзистор на окне.
Кто опять в командировке —
выбить что, за горло взять.
Вон — один сидит на бровке,
в поле воин — пашет зябь.
Разве только в день оклада
собирается бригада:
всем бездельникам подряд
полагается оклад...
Те, выходит, и крестьяне,
кто на фоне местной пьяни
пашет, что ни говори,
от зари и до зари.
Возникает на бесхозье
тороватая артель —
дорогой и званой гостье,
надо бы спасибо ей...

Бревна давнего залама
каменеют в берегу,
где студеная Молома
вольную дает дугу.
Эту реку не томили —
не прудили, не прямили...
Слышу вятский говорок:
пишет Витя-бугорок.
Зарифмуем письмецо,
эпохальное словцо
не сотрем и не заклеим:
— Хорошо живем, наглеем...
Бригадир мой осерчает,
если что совру не так.
Работягу выручает
запланированный брак.
Тут кому-нибудь икнется:
дважды рубль обернется
около одной дыры.
— Переходим на дворы.
Обижаются коровы:
подгнивает потолок,
потекли твои хоромы —
надо выручить «залог».
Сам себя не пожалеешь —
будешь инвалид труда.
Что не пишешь никогда?
Обижаешься?
Наглеешь...

ЗАПИСИ

МАРИНА

Чего же ты, моя Марина,
лежишь как глупая перина?
Да ты была ли мне верна?
Была, отвечает она.
Была, да лишку, в том и дело.
Не приворачивал домой —
стерпелась я, залетик мой,
поэтому и поглупела.
Уж подошла такая кромка —
постыла я себе сама.
Смеются бабы: пустодомка...
Не спрашивай с меня ума.
Чего колодец позаглох?
Давно, знать, водушки не черплют.
А ты-то сам — чего уж плох?
А? Мужики-ти али терпят?

ЛЮМПЕН-ВЫМПЕЛ

Николаю Тряпкину

Видал бы Яков Деревяга,
войны Японской инвалид,
как пьяный агроработяга
траву поклонную валит!
... На яковлево воскресенье —
по прихоти стихотворенья —
мелькает красный вымпелок
над полем, с коего сволок
старик великие каменя.

А пожню ветром пригнуло,
а градом вовсе положило.
Явленье яковлево живо,
коль дело мертвое — мертво.
А все же легок на помине
и полон интереса дед,
проспавший семь десятков лет
в своей добротной домовине,
которую и сладил сам...
Стоит мужик на кошенине —
не верит собственным глазам!

Пока он в этом ступорозе,
я думаю, что в дельной прозе
опишет это кто-нибудь,
оставив мне. однако, суть.

По этой сути
воскрешенный
« Не умер, не сошел с ума...».
Измято поле задарма,
но клин остался нескошенный,
и нам теперь его косить,
покуда этот душегубец,
знать, поломал сорокозубец,
что перестал тут колесить.
Какой мне праздник нынче выпал!
И напевая «люмпен-вымпел»,
прокос иду за стариком,
а он так споро ковыляет
и ни клочка не оставляет —
с наукой, видимо, знаком,
когда крестьянского мальчонку
привязывали за мошонку
таким клочком. Но чем и как
наемных этих работяг
к земле истерзанной привяжем?
Теперь не знаем и не скажем.

Как в чем обещанная суть?
А в том, чтобы косою ширнуть
с потягом, поперек повала,
согласовав и взмах и шаг,
хоть на полутора ногах
воскреснув!
Коль нужда позвала.
Чтоб вспылал живой ожог
на совести, саднящей вечно,
чтобы зимой стоял стожок
высоко и остроконечно.

УВАЛЫ

Э. Думбадзе

По состоянию умов
не знают местные крестьяне,
что эта линия холмов
повторена у Модильяни.
Художник, впрочем, не видал
вдаль убегающих увалов,
но вдохновенно передал
все то, что землю волновало
в непостижимые века,
когда впервые Юг-река
долину эту прорывала.
Он мог изобразить... не вас,
но в вашем возрасте как раз —
хоть деда вашего, хоть внука.
Блужданье взгляда или звука
в потусторонних временах,
испытывая вещий страх,
отвергла косная наука.
Я не был здесь. Но почему
так узнаваемо, до муки,
тропинка вьется по холму?
Скажите, прадеды и внуки:
Я — это я? Или не я?
Плывут холмы водораздела
как волновая ли-ни-я
божественного Амедео.

ЗЕМЛЕЙ И ВЕРОЙ

Памяти

Вячеслава Макарова

1

**Совсем неглупый идиот,
ревнитель правил,
мне во спасенье ДО и ОТ
кругом наставил.**

**Но быть и значить не могли
такие знаки:
Вперед! Не по лицу земли —
так по изнанке.**

**Там ветерок небытия
дрожит и веет,
там кожа на лице моя
ороговевает.**

**На той, на левой стороне,
на черной воле
понадобятся жабры мне
иль что-то вроде.**

2

**Нам вышла ото всех щедрот
глухая трасса,**

такая жизнь — наоборот,
ход китовраса.

Тот зверь не выжил ни в миру,
ниже в природе —
выламывая по ребру
при повороте.

Такие темные дела,
мой милый Слава.
Тебя достала, пригнела
тебя держава.

Прочь от нее, сутул и крив,
стезей прямою
ты уходил, асфальт взбугрив,
куда-то к морю.

Как не был — ты сошел на нет...
Из психодрома
ко мне с приветом твой портрет:
сидит ворона

на голове твоей живой...
Бери, историк,
картинку в книжку про застой:
в больничный дворик

ворона вовсе не на труп
летит смердящий —
она летит на шелест губ,
на мозг творящий.

По обе стороны черты
сегодня правда.
Подкинь мне, Слава, черноты
из андерграунда!

А в скобках и для знатоков
такая справка:
не только Николай Глазков —
на свете есть Макар Славков —
владелец птичьих языков —
Макаров Славка.

Ему оставил чистый лист
в глуши приютской
эпохи энциклопедист —
прозаик Слуцкий.

И Чичибабин обнимал
и плакал вроде,
пока ученый кот дремал,
кругами ходя...

Я чистый лист беру
и просто заполняю
и больше поминальных слез
я не роняю.

Да будет крепок наш собор
землей и верой,
пока вершится их террор,
глухой и серый!

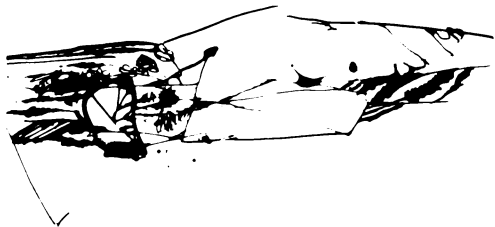
* * *

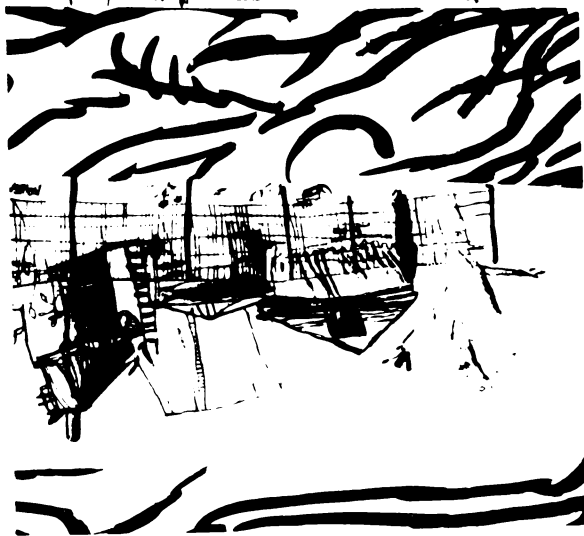
**Нелепая русская тяга —
большого пространства труба.
Как нищий и пьяный бродяга,
всю ночь завывает судьба.**

**В полосчатом рваном халате
кружится промокшей листвой
и к воле зовет и расплате,
и ждет при дороге — не вой!**

**Я спал — это в душу ломилось.
Я спал и кричал: погоди!
Наутро она утомилась,
лежала и снегом светилась.**

И женщина шла впереди.





БЕЗ ИМЕНИ

Бледна рука воскресных канцелярий.

А. Цыбулевский

Кого смешишь,
когда спешишь
ты с постоянством злоупорным
с утра к делам своим прискорбным?

Куда тебя поволокло,
затиснуло, приподняло
в раскачивающейся давке,
повергло в узкое жерло —
к какому Данту или Кафке?

Толпы сплотилось вещество.
Не обижайся на того,
кто полступни тебе отдавит:
не он стремится поток и правит.

Так ручейками без числа
солятся мертвые дела
казенных безответных парий
в одно —
без берегов и дна,
да и без имени... Бледна
рука воскресных канцелярий.

* * *

Фронтоны весом в тыщу тонн —
строй долговечности досадной.

Величье

серости фасадной,
полурельефы фальшколонн.

Темны квадратики стекла.

Окошек мощные надбровья
запомнили средневековые.

Гранитный цоколь — как скала.

Стоят не глядя, не дыша
дома

особенного стиля.

В них тоже музыка застыла
и отпечаталась душа!

Вы дорисуйте мост и ров
перед угрюмою стеною.

Дом выстроен перед войною
руками лучших мастеров.

* * *

**Я часто забываю имена,
подробности событий, разговоры,
и мне
забытое
другим и новым
является из пересказа.**

**Помню чувство —
той памятью, которой помнят запах,
той отрешенной памятью, когда
мелодию без слов, без звуков слышно...**

**Отторгнуто от впечатлений жизни,
то чувство копится и жить мешает,
сюжет по-своему перерешает
и все придумывает за меня.**

ТРЕТЬЯ

**И всех осталось только две
в моей болящей голове:**

**одна — земля, другая — небо,
и нет без них меня. И мне бы**

**небес не знать, землей не стать..
Неизмерима благодать.**

**Ужели третья? Быть не может!
Так, значит, век еще не прожит!**

**Взбежал как мальчик по лучу,
и все светло, и жить хочу...**

ПОЛЕТ В ПОЛЕТ

Я должен описать его полет —
не то чтобы как камень он падет —
на взмыве ветра
он стоит как камень.

Под ним
как тень
таймень
стоит в волне,
в капризной волокнистой быстрине,
чуть пошевеливая плавниками.

Вот так природа мне моя велит.
Полет в полет — так я во время влит,
полет в полет — такое многоборье...
Одолевая натиск лобовой, —
полет в полет — над каменной Москвой —
клоню и правлю
к Беломорью.

* * *

Путь дальний — ближний не годится,
а почему — не враз поймешь.
Как выйдешь — девочка родится
и вырастет, пока дойдешь.

Звенит водица ключевая,
шумит тенистая сосна.
Весна моя сороковая —
как будто первая весна.

Мне снится лес и семь избенок
за полем голубого льна.
Издалека — бежит — ребенок —
подходит — женщина — она...

Ты сон согласишься и покоя.
Шуми, сосна, звени, вода.
Потом — старуха ткнет клюкою,
потом — почти уж никогда...

И через поле то льняное
уйдет к поваленной избе
и доживет свое земное,
невыносимое тебе.

* * *

**Ты — разум?
Ты пошляк.
Тебе доступно что-то
не выше анекдота
и птички на полях.**

**Тебя не оскорблю
и самым грубым словом —
живи на всем готовом.
А я — ее — люблю!**

**Меня еще спасет
пространство чистой веры —
та высота высот,
не знающая меры.**

* * *

Во все концы дорога далека,
но в зрелые черты сумей взглядеться —
и различишь прекрасного младенца.
Сморгнешь — и угадаешь старика.

И возраста у человека нет.
Я это видел в ясные минуты
посередине той тяжелой смуты,
что мы зовем вершиной наших лет.

Я возрасты мои в себе несу,
и, как деревья в лиственном и хвойном,
ноябрьском или мартовском лесу,
они толпятся в беспорядке стройном.

ЗАПИСИ

СКЛАД УМА

**Замри, мой слух, душа отверзись:
здесь мысли высота и дерзость.**

**Однако я тебе скажу...
Внимание, перевозжу.**

**Тут рифма — осторожно — выстрел...
Что скажешь ты — то я уж вы.....**

**Так в складе русского ума
жива поэзия сама —**

**любого умного движенья
душевное опереженье.**

НА ОДНОМ ОСТРИЕ

У Сендюги-речки великая свалка.
Ворона шагает степенно и валко,

и нехотя-медленно-косо, как дым,
возносится стая над лесом худым.

И где залегает кольцо обороны,
не знают шпионы, а знают вороны,

а мы, заблудившиеся грибники,
наткнемся на зону — плюемся с тоски!

Не нашим с тобой разумением и толком —
вороны питаются кабельным током,

который выклеывают из глин,
и наши воззрения сводят на клин.

А милый пейзажик из поля и леса
стоит на платформе бетоно-железа,

она же — весьма вероятно сне —
покоится вся на одном острие.

* * *

Каким-то мрачным аппетитом
с утра до ночи он страдает,

и день-деньской имеет ритм,
в котором он его съедает.

Большие руки — будто ляжки —
он опирает о перила.
Все начиналось с манной каши —
ах, что ты, мама, натворила!

С балкона пасмурно следит он
за головами и плечами,
что еле набраны петитом
в каком-то тусклом примечанье.

Сидит и яблоко кусает,
гримасничая и потея,
и на мозги мне тень бросает
прикованного Прометея.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

На месте нежном и укромном
при обстоятельствах иных
прочсть возможно No problem
пониже бугорков грудных.
И в милицейском протоколе
записано при понятых,
что все обман и скука в школе,
что всех не переловят их
и что страмить других бы надо...
Но чьи теперь смутит умы
дитя всемирного распада
и всесоюзной кутерьмы?

А вот, что сказано в письме:
в моей родимой Костроме,
чье имя славится кострами,
сгорел архив в соборном храме.
Столетний восемь
взметено
через замковое окно
за два часа — единым махом!

И Кострома оделась прахом...

Над городом повисла туча
и, сопрягаясь, как мозги,
осмысливала этот случай:
да как же так они смогли?
Да так... Виновных отыскали:

мальчишки голубков пускали.
Проемы не застеклены,
приделы глухи и темны.
Кому нужда в архивном соре?
Как в домне гуд стоял в соборе!
Провинциальное звено
в таких делах закалено.
У них-то не горят палаты...
Так с кем же, дурочка, спала ты?
Где протокол? Черт уволок.

Пришли и смотрят в потолок.
Впервые посетили храм,
похлопали по черной жиже,
вполне бесстрастны и бесстыжи,
как и положено вождам.
Кромешной огненной бурей
сплошь выжжен весь Никитин Гурий, —
что знает горстка пустомель
о славе северных земель?
По саже поскребли: известка.
Ни Бог, ни мир им не судья —
тому свидетельство статья
о воспитании подростка...

ЗАПИСИ

ПРО ИВАН ПАЛЫЧА

- Чо дуришь, говорю?
- А чо дую?
- Дети будто порыжели — от чо, говорю?
- Не ори, говорит, ай пропало чо...
- Али рыжего забыл Иван Палыча?
- Ах ты тварь, говорю!
- А ты алкаш, говорит.
- Покажу те алкаша!
- Покажь, говорит.
- Ах так, говорю!..
- А вот так, говорит.
- Нонь у нас с тобой — не контакт, говорит.
- Ух какие, гу, пошли все ученые!
- А, гыт, все вы — кобели нелегченые!

А сама, гляжу, ревет, сидит нахохлилась,
все же мать, как никак, многодетная...

— Ладно, чо, говорю, тут рассоплилась,
погуляй поди, вон какая бледная.

(Не беда и погуляет — сам себе молчу.)

— На детей, гу, не влияет...

— Не влияет, чу.

— Кабы знать, гыт, как гулять...

Как, гыт, есть — тут и вся.

— Извини, гу, ладно, мать.

пошутить нельзя...

НИКА

По волнам бухты
скачет скутер,
и встречный ветер — лучший скульптор —
единым замыслом обьял
на свете лучший матерьял:
одним порывистым усилием
все обозначит без резца
от голени и до лица —
и все обдаст
соленой пылью! —
обдаст и насухо опьет,
и замирает на мгновенье,
и собственное вдохновенье
в богине мастер узнает,
и, выведя Никен крылья,
вдруг отлетает — душу вылья —
не оглянувшись, на простор,
у пирса вырубив мотор!

ОРЛИНОЕ ПЕРО

Сентября двадцать шестого
все семеро учеников
ведут наперсника Христова —
им радуется Богослов.

Уже стоит в виду Ефеса —
короной — свет со всех сторон,
как та полярная завеса.
И смерти радуется он.

Столетний разум тверд и ясен...
И повелея, глаза смежив,
гроб истесать крестообразен
и в оном погребесе жив.

И то, что век ему служило,
спросил орлиное перо,
затем, что время смерти — живо,
а не мертво.

И явственно еще, и слабо
он говорил свои слова,
егда возлег крестокрылато...
Но мы бежали от волхва.

ПОРТРЕТЫ
ТВАРДОВСКИЙ

Прогуливался вечерами.
Сквозил как лось в березняке,
и в рост обозначался в раме
дверной, и медлил в косяке.
Потусторонне спросит, нет ли
чего на донушке... Болесть
затягивает хуже петли.
На донушке, по счастью, есть.
Сидит в бушлате иль «москвичке» —
в том дачном рубище своем
под гнетом горестной привычки.
Я пью, ты пьешь, он пьет — мы пьем.
Я не люблю молву мирскую —
ей в пересудах откажу.
«Свою п ю, а не кров людськую» —
Шевченко не перевожу
и невозможно: «Шкода й праці»...
Когда Твардовский в петлю лез,
он был медлителен и трезв,
и в этом стоит разобратся.

*

Тому назад уж много лет
у «дядьки» нашего Бориса
на даче под Москвой открылся
Твардовский Университет.

Иркутский был и был Московский,
однако времени сему
нас вразумил старик Твардовский —
всех вместе и по одному.
На даче всласть я зимовал —
тот год бездомен был и смутен...
Там жил Шугаев, жил Распутин,
Преловский жил, не горевал.
Вампилов Саня... Мир ему.
Березки, елочки, осина,
и теремок стоит красиво,
и гость прекрасный в терему.
У вас тут прямо общежитье —
Сибирь! Странноприимный дом...
А как здоровье? Как с жильем?
Возьмите... в долг... не откажите.

А лиственница хороша
и на голову выше леса.
В ней шелковистая душа
и древесина, как железо.
Бывает так: на море хвой
налягут ветры верховые,
и ломают корень становой,
и вырывают боковые.
Великолепный ствол простерт:
все погибает быстро — или
годами мается, растет...
Какое дерево свалили!

*

Был с половиною страны
Твардовский в частной переписке

и косо, и со стороны
глядел на рынок олимпийский.
Прости, Олимп: тот разум благ,
в ком золото — рассудок детский...
Есть Исаковский, есть Маршак
на бедность лирики советской.
Ахматова... Был Пастернак,
но этот — выкормыш кадетский,
а я, вы знаете, кулак —
Твардовский пан и шпынь шляхетский.
На вещем языке доносов
я собиратель всех отбросов,
я пригреватель всех злодеев,
особенно из иудеев.
Раскольник и смоленский патер,
освободитель сумасшедших,
не в эти ворота зашедших,
и мертвецов реаниматор.
Заведующий старой свалкой,
ходатай и стучатель палкой,
поскольку кандидат в ЦК...
В отставке, правда, но — пока...
Я вдохновитель перекосов:
в журнале есть такой отдел —
заметьте — «черный передел»
для самых проклятых вопросов.
Василий Теркин — в царстве мертвых.
Читали? Хвалят... Не прочтут...
Что ж молодые не растут?
Не жалко — траченных да тертых?
Вздыхал: сознание — поздний дар
ущерба и похолодания.
Как думаете, Вольдемар,
Россия — все-таки не Дания?
К себе сомненья примерял
и шпагу горестного принца

и, треснув кулаком, — я — дряхл! —
шептал: сознание... боится...
Все нужники сам обхожу,
с журналом — месяц проволоочки.
Старье, жулье... поодиночке...
А что же вместе? Погожу.
А как же — у кого служу,
того бранить неблагоприятно.
Иное дело — принародно,
по расхождению идей...
В нем это жило и болело:
«Мне правда партии велела
всегда во всем быть верным ей».
Шел — прямо, оказался — слева.
А большинство ушло правей!
Что делать? Врать? Себе дороже...
Потом попробуй зачеркни —
так и напишется на роже!
Попортить борозду — ни-ни...
А знаете, читать стихи
так стыдно: выйдешь словно голый...
Я слушал: так шумят верхи,
и тишину грызут глаголы.

*

Идут года — стоят дела.
Накапливается утрата,
как призрачная тьма Рембрандта
или собора полумгла.
Есть ложный стиль: мемуарит,
когда сидишь — вос-по-ми-на-ешь...
А Величанский говорит:
пиши о том, чего не знаешь, —
и будет то, что быть могло,
но в силу недоразумений

буквально не произошло.
Да здравствует — душа явлений!
И снова — глядя на отца —
напишет сына Модильяни...
А нет — вернемся к обезьяне,
дойдя до твердого конца.

*

Вчерашний гость — и нынче в гости.
Снег, иней, солнце и мороз.
Все опушилось и зажглось.
Стоит и дышит: Гос-по-ди!
Вы не смотрите на меня...
Природу я не украшаю.
А знаете, не возражаю —
немного... для начала дня.
И Белла, Белла там жила,
она бы рассказать могла:
серебряная, кружевная
зима была... А я не знаю.
Была — и не было зимы,
и правил мной не бог деталей,
но то окно нездешней тьмы
за здешней той, за далью далей!

*

За новомировским столом
Твардовский в голубой рубахе.
Все пребывает — поделом —
в почтительном державном страхе.
Магнитофонная змея
прокручивается вхолостую...
Стучатся — входят. Это я
пришел к нему. Я протестую.

за то сживаемый со свету,
больной и старый человек...
Твардовский не был пощажен.
Своя — своих... Тишком, окольно...
Своя — своих... И он пошел
навстречу своре — на рожон —
медлительно и добровольно.

*

И снова тихая Пахра.
Его последний день рожденья...
Кончается пора цветенья.
Жасмин в окне и дождь с утра.
Мы не видались года два —
как будто вырваны страницы —
больной доставлен из больницы
и не выходит никуда.
Пришли, поздравили. Была
среди друзей княжна Светлова-
Амирэджиби... Как дела?
Пра-хо-вы-е... Четыре слога.
Был стол — я убежал. Еще
мною не изведенная горечь
надвинулась... Где Леонович?
Не-хо-ро-шо...

*

Нехорошо. Он был бойцом...
В начальных сумерках, с лицом
багровым и одутловатым
вставал к работе молодцом
часу в шестом, а то и в пятом.
А как однажды напрямиком
по дачной узенькой аллее

нал палкою и матюком
правительственного лакея!
«Высокой честью» оскорблен —
пакетом — подлой синекурой.
Твардовского — скажи им — шкура
отдельно — стоит миллион!!
На дачный весь архипелаг
летели молнии и громы,
где нынче задом на овраг
выходят люськины хоромы.
Схватился: сердце... Здесь, в конце
аллен, просеки в начале...
Но страха не было в лице,
а смесь презренья и печали.
И за два этих года сдвиг:
труд совести, души и смерти...
Я вижу не лицо, а лик.
Светлейшая шептала: гмерто¹! —
покуда нем сидел старик.

*

За молчаливою рекой,
в краю печали и мороза,
не докричатся перевоза —
где перевозчик молодой?
Ни голоса из-за реки
и ни мосточка, ни жердинки.
В лице прозрачном — ни кровинки
и — дышащие те зрачки.
Я вижу мать и вижу сына
и гиблого народа тьму:
содвинулось — лицо — едино...
За что же мучиться ему?

¹ Гмерто — Господи /груз./.

* * *

**Мне написать страницу,
перебеляя быль,
как дурню австралийцу
сожрать автомобиль.**

**Он молод, он дерзает,
планета ждет вестей.
Он громко разгрызает
коробку скоростей.**

**А я связал — на счастье —
два слова: ТЫ и Я —
расторгнутые части
земного бытия.**

* * *

**Во всем ассортименте
мои резиновые сапоги.
Таков сегодня дэнди —
и возле глаз круги.**

* * *

**Я с тобою буду кроток —
на тебя ли мне пенять,
оттого что самородок
невозможно разменять?**

**Ты почувствуешь тем боле,
как тяжел он и коряв,
где-нибудь на вольной воле
самородок потеряв.**

**Сердце охнет и зайдетя,
станет тихо и темно.
Был бы цел — лежит — найдется.
Кто найдет — не все ль равно?**

ТАК И ТАК

**Слабого не соблазни.
Истина дурна и дика.
Фальши затажное иго
милосердию сродни.**

**Слов прямых не говори —
есть важнейшие резоны...
В быстрой камере кессона
кровь вскипает изнутри.**

**Чахнут елочки в тени,
а на вырубке от света.
Должного иммунитета
не приобрели они.**

**Так и так, мои друзья.
Выбор наш весьма убийствен:
между долгого вранья
и скоропостижных истин.**

О ЮБИЛЕЯХ

Все начинается
с пяти-шести,
растет к семи-восемидесятилетию.
Покойники особенно в чести,
и допускает к литнаследью
любого-каждого их мирный прах.

Мертвец растет буквально на глазах!
Прибавка веса и прибавка роста
особенно заметна к девяности,
и даже некоторый спад
являет голое столетье —
есть магия подобных дат.

Итак, дерзайте, юбилейте
и снова, не щадя ума,
учите мертвого, как жить ему на свете:
ученье свет, а неученье тьма.

ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ

**Природе вопреки
к одной стене прибиты
две памятных доски:
убийца и убитый.**

**На корточках сижу
у стеночки напротив,
внимательно слежу
за сдвигами в природе.**

**В ней все наоборот,
совсем не так, как надо:
гуляющий народ,
листва, жара, прохлада...**

**И трещина пойдет
меж досок по фасаду!
Последний идиот
приговорен к разладу.**

ПЕРЕЖИВИ!

Моя горячая молитва
сегодня та же, что вчера:
пошли мне мальчика, элита,
дитя исторгни из нутра,
чей дядя самых честных — грабил,
чей папа дядю убивал,
но родственнику не потрафил
и все-таки недобровал...
Пусть мертвецы, отцы и дяди,
грызутся сами по себе —
внуши разумному дитяти
все ненавистное тебе!
А он уж книги пожирает
в своих библиотеках-спец
и для начала презирает
весь род людской.
Но ты, отец...
Все зашаталось, мальчик милый,
на страшной хляби, на крови.
Но не стреляйся над могилой —
переживи, переживи!
Он опрокидывает плиты:
лицом — во тьму!
Лицом — во тьму!
Пошлет мне мальчика элита
и в спину выстрелит ему.

ПОРТРЕТЫ

ПАВЕЛ МЕЛЕХИН

В тех казармах для крестьян фабричных,
двухэтажных и краснокирпичных,
что тоскою метят Подмоскovie,
обитает пятое сословье.

Переименованная в Клизму,
Клязьма в русле мусорном струится.
Удалось-таки капитализму
за социализм зацепиться,

а последний сей в коммуно вторгся
долгой перспективой коридорной
с кухней и общественной уборной
за фанерной дверцей в том же торце.

Подыши минуту, опиши-ка
нашатырный дух и керосинный...
На столе у Паши пишмашинка,
а под полом — сам король крысиный.

В обществе крысиного Михая
той «Румынии» или «Шанхая»
жил король — поэт Мелехин Павел...
Он скрипел, фальшивил и картавил,

но ему, а не Рубцову Коле
присуждали «короля поэтов» —

звание соблазнительное, кое
он отверг, владычества отведав

(одному шуту-лауреату
надавав увесистых пощечин
впрок и поделом, хотя предвзято,
как и надлежит поэту, впрочем).

Ромбики проватной голой сетки,
кашля-смеха Пашки хрипы-всхлипы:
ибо стенку отирают типы
в серых шляпах внутренней разведки.

Чем очаровал ты эту дуру?
Почему наглеют эти типы?
В подражанье старому Катулле
Паша в рифму пишет инвективы,

и, как древле Цезарь и Мамурра,
их читают Гришин и Романов,
и жива еще литература
баловней фортуны и смутьянов.

(В чудной дружбе пара негодяев:
кот Мамурра и похабник Цезарь...)
Вразумит Мелехина Куняев,
или вырубит полкниги цензор,

или вовсе похоронят Пашу,
напечатают, что жил да умер...
Дураку понятно, чей тут юмор,
кто пустил подобную парашу.

Погрустил денек и ржет Воронеж,
увидав Мелехина живого.
Мать слегла от юмора такого...
Знаешь, боров, где ты, боров, роешь.

...Заполночь внизу возня и пiski:
беспокоится Михай Михайч
о твоей опасной переписке:
пишет Паше Александр Исаич,

всею чернью клятый и клейменный,
шлет письмо по линии казенной
и дойдет в «Румынию» на Клязьме —
в те-то годы! — позабудешь разве?

Лишь юродивый не знает страха —
ломит прямо, где прямых дорог нет.
На тебе холщовая рубаха,
снятая с отца, никак не сохнет.

Не пошел в этап Леон Мелехин,
кинулся Леон в родной колодец:
знал мужик, что по краям далеким
сгинет весь воронежский народец.

Душно жить! Да что ж это творится!
Ну-ка помяни отца, насмелься...
Били Пашу головой о рельсу
неизвестные, но в шляпах лица.

Я хотел бы видеть эти рожи —
бросили тебя на рельсы... Местный
оттащил тебя в бурьян прохожий...
Слышишь, Паша, голос мой болезный?..

Темной ихней силы не осия,
мы полжизни перебедевали...
Наша опустелая Россия —
чернопенье на лесоповале.

Помню, милый, я твою присягу,
повторяю: буду жив покуда,

на повалах на пень не присяду —
потому угрюмец и зануда.

Ну а ты озоровал... И даже,
олимпийских не страшась запретов,
сочинил однажды — Паша, Паша! —
пару фронтовых живых поэтов.

И огонь священный сник и вытек,
раскололся, бедный, пополам ты...
Феликс Кузнецов, великий критик,
проходимцев оценил таланты.

(В книжечке одной гласит акростих,
что ГОВНО КАСАТКИН — и однако
не упас тебя неверный мостик,
отомстила гневная бумага.).

Воровское время. Грех поэта.
Ты и сбросил с девятиэтажки
сам себя — за все за то, за это —
как в колодец. И не стало Пашки.

ГЕФСИМАНСКАЯ СОНЛИВОСТЬ

Чтобы славная продлилась
жизнь апостолов моих,
Гефсиманская сонливость
одолела их.

И в тяжелом полудужьи
плыл Отцовский лик...
Никого не звал к оружию
наш архистратиг.

В голубом и зыбком свете —
как на дне реки —
разметались, спят как дети
все ученики.

Только... Только Иоанна
грудь как будто бездыханна
и лицо темно.
То-то и оно!

Сим отмечен гений дивный:
чувствую спиной
взгляд горящий: Ты Единый
бодрствуешь со мной.

* * *

Тише — глуше.
Песочек, ивняк, берега.
Колея волокуши,
измочаленная слега.

Славной жизни останки:
трудовая война...
И глухая, как в танке,
в бараке гнилом тишина.

Водяные зеленые тени:
малинник в окне.
Не истлели
газеты еще на стене.

Там согласно канона
НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ
явлен подвиг района —
в сводках, в мутных клише.

Лесозаготовители.
Инвентарь довоенный: «лучок».
Все заиндевели —
а в лаптях мужичок.

Все хохочут:
фотограф попался шутник,
Червь истории дерево точит:
тик-тик, тики-тик...

* * *

Отделенный сумраком от земли,
бор не опирается на комли.

Будто легкою рукою взнесены,
заповедные стройные три сосны —

триединая плоть одного комля.
Все принимает лес и несет земля.

Троелучица бора, хоть ты прими
человека, простертого на земли.

Тесный золотоствольный свободный ритм.
Небо повечерело, звезда горит.

Чистый — как подмели — угор моховой
над озерной сонною синевой.

* * *

**В дёбрях крупноблочного квартала,
в недрах городского бытия
невредимо при дороге встала
малая часовенка моя.**

**Где проходит служащая смена,
вздернув плечи, опустив носы,
в силу некоего феномена
останавливаются часы.**

**Возле этих маленьких часовен —
темного наследья старины —
я давно заметил: час неровен
и в движеньях люди неверны.**

**Время — ход просторный, ход державный,
неоглядывающийся ход —
повергается в какой-то плавный
обморок или круговорот.**

**Время пропадало несомненно:
век мелькнул, покуда миг протек.
В силу некоего феномена
о душе подумал человек.**

ЦАРЬ-СВЕЧА

**В моем отечестве любому палачу
всегда в достатке памяти и чести.**

**На Красной площади на Лобном месте
поставить надлежит свечу
за упокой невинно убиенных,
крест высечь и звезду —
два символа и знака сокровенных —
умерить скорбью их вражду.
Равно пригодны для распятия
крест и звезда...**

**Хоть мертвые, теперь вы братья,
товарищи и господа.**

**А место Лобное, конечно,
задумано и было как подсвешня
для небывалой Царь-Свечи.**

Постой минуту.

Помолчи.

ОСНОВА

В лесу далеко пахнет гарью,
чернеет в озере вода,
и нас за тридцать верст к Макарию
несет какая-то нужда.

Однако посреди разрухи,
где негде встать и негде сесть,
поют паломницы-старухи,
и странно слышать эту песнь.

И плат белеет, где подвижник
за нас предстательствовал в вышних
и украшал иконостас...

Они поют в последний раз,
они поют в разбитом храме
«о гневе буйных» ветхий стих,
мучительными голосами
помилуй, молят, и прости их...

И тот районный активист,
столкнувший восемь колоколен, —
плюгав же был и неказист —
перед Макарием отмолен.

Наследники его вины,
и мы с тобою спасены
молитвою о всех бесстрашных
среди болот и дебрей важных.

**Тропой черничною гуськом,
с котомкою и посошком
плетется воинство христово;
семидесятые года
его поглотят навсёгда —
продлится чистая основа.**

СОДЕРЖАНИЕ

Терпение свободы	5
«Сквозь дождь и дерево нагое...»	6
Хозяин	7
На камне	8
Медитации. К Петровичу	9
Часовня Рождества Богородицы в память Елизаветы Ивановны и Екатерины Игнатьевны Калининных	13
Музыкальный след	14
По правилам войны	16
Без покаянья	17
Пьета прима	18
Явь	19
Записи. За столиком	21
«Пловец, который плавает с умом...»	22
Каждому ключу	23
Кипарисы	25
«За далью времени и боли...»	26
Мать этих мест	27
«За острой желтизной дрока...»	28
«В церквущечке затхлая мгла...»	29
Памяти Владимира Львова	30
3 июня 1989	32
Белый свет	35
Медитации. Сводный хор	37
«У излучистой Моломы...»	40
На этюдах	42
Враги	43
Портреты. Анна Ходасевич	44
«Ты обратишься к тайнословью...»	47

«Приход и служба захирели...»	48
Театр-абсурд	49
«О чем же, о чем же? О молнии зябкой...»	50
«Нестерпимы проволочки...»	51
Неликвиды (<i>Элегия</i>)	52
Вкус	56
«Напишу ли я роман...»	57
«Небезгреховна, безбвинна...»	58
Человеку живому	59
Версия. Пастернак	60
«Утрудился, занемог...»	64
«Гроза очевидная и безнадежно сухая...»	65
«Ландышей нарвал в комарином лесу...»	66
Сушь	67
Две сестры. <i>Баллада</i>	68
Цветок	70
Эпохальное словцо	71
Записи. Марина	73
Люмпен-вымпел	74
Увалы	76
Землей и верой	77
«Нелепая русская тяга...»	80
Без имени	83
«Фронтоны весом в тыщу тонн...»	84
«Я часто забываю имена...»	85
Третья	86
Полет в полет	87
«Путь дальний — ближний не годится...»	88
«Ты — разум?...»	89
«Во все концы дорога далека...»	90
Записи. Склад ума	91
На одном острове	92
«Каким-то мрачным аппетитом...»	93
Никаких проблем	94
Записи. Про Иван Палыча	96
Ника	97

Орлиное перо	98
Портреты. Твардовский	99
«Мне написать страницу...»	108
«Во всем ассортименте...»	109
«Я с тобою буду кроток...»	110
Так и так	111
О юбилеях	112
Природе вопреки	113
Переживи!	114
Портреты. Павел Мелехин	115
Гефсиманская сонливость	119
«Тише — глуше...»	120
«Отделенный сумраком от земли...»	121
«В дебрях крупноблочного квартала...»	122
Царь-свеча	123
Основа	124

**ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНОВИЧ**

ЯВЬ

Стихи

Редактор Г. Фролов

Оформление художника Е. Леонович

Технический редактор Т. Маринина

Лицензия ЛР № 060469

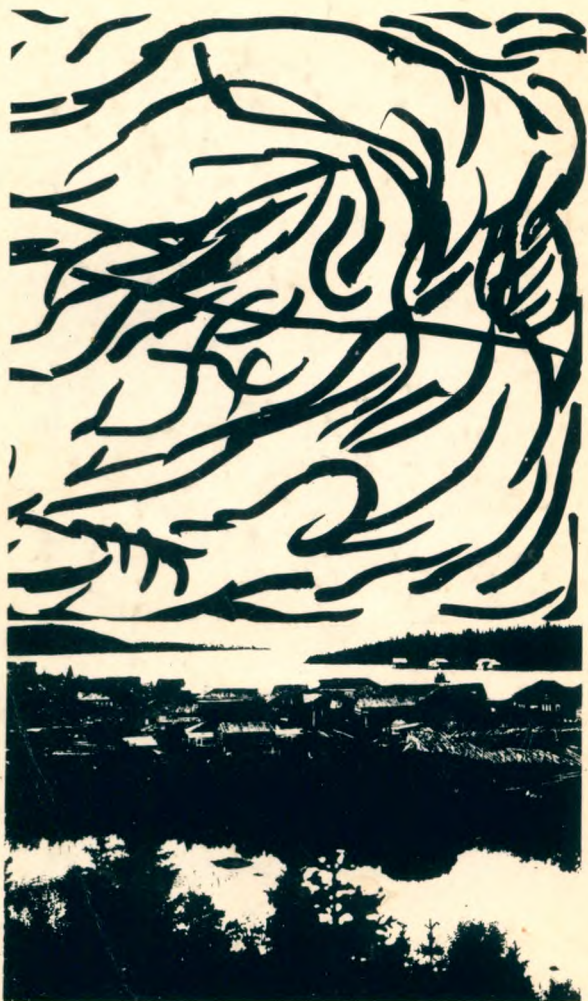
Подписано в печать 28.09.93. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,68. Тираж 1.000 экз.

Заказ № 1147. С 006

Малое научно-производственное предприятие (издательство)
«Праминко» 125047, Москва, 4-я Тверская-Ямская, 25, кв. 1.

Щербинская типография



МОСКВА · 1993